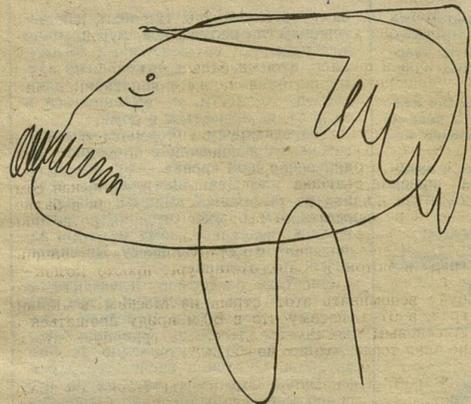


Зеран и сценка — 1992. —
20-27 авг. — с. 8-9.



— Василий Павлович, вы не жалуете, что однажды, в конце шестидесятых, в белые ночи, в Ленинграде вы не снялись в фильме Петра Тодоровского «Фокусник»!
— Я, в фильме Тодоровского! Первый раз слышу...

(Из стенограммы встречи в Доме кино по случаю первого приезда Василия Аксенова после изгнания в родную страну.)

Этот вопрос в записке задал ему я, как бы послать ключи доступную шифрограмму, но закодированные смыслы эффекта никакого не возымели. Сюжет, который жил во мне почти четверть века, так и остался только моим мыслями.

С чего это началось, я приблизительно помню. Маросейка, жара, шашлычная близ «Советского спорта», явление молодого полубога Виктора Агеева, которым бредили в то лето. Кто понимал, конечно. Он был большой, красивый и улыбался, как на ринге. Он улыбался, попасть же в него было невозможно. Его пытались бить, а он, прилясывая и посмеиваясь да и к тому же опустив руки, всего лишь отклоняя голову, не давал коснуться ее кожаной перчаткой. Не в шашлычной, естественно, а на ринге. В шашлычной надо любить друг друга, что мы и делали.

Другим полубогом, но в летах, постарше, был Василий Аксенов. Его тоже пытались бить, и уклоняться было куда труднее, поскольку дело происходило не на ринге, потому он и не уклонялся, приучая себя держать удары. Тоже не в шашлычной, конечно.

Остальные были смертными. Мои друзья и недавние коллеги, два Александра — Марьямов и Нилин, — только что перешедшие из АПН в спортивную газету, демонстрировали высший класс ведения беседы: ни о чем не спрашивая, говори сам, и тогда тебе ответят даже на незадаанный вопрос. Словом, хорошо сидели: в полном соответствии с самым популярным в то время социалистическим протоколом — в обстановке взаимопонимания, а также дружеского и сердечного общения.

С какой стороны объявился Ленинград с его белыми ночами — объяснить не берусь. Да и не надо. Кто не знает, что где и никогда нет лучше времени, чем в Ленинграде и в белые ночи! Клич был брошен, маршрут намечен, день отправления тоже — следующий вечер, — ибо этот был начисто занят. Аксенов впервые собирался прочесть для близкого круга «Затоваренную бочкотару», Агеев торопился на «каток» (кто не знает, пусть и не узнает никогда), остальным участникам экспедиции надо было подготовиться тылы и домашних, что не всем, как выяснилось впоследствии, удалось.

Два года назад, во время итальянского чемпионата мира по футболу, мы с младшим братом (см. Соч. В. П. Аксенова), чего и представить себе невозможно, в набитом, как подмосковная электричка, экспрессе Рим — Турин ехали на матч Бразилия — Аргентина. Ехали культурно, согласно купленным билетам, и комфортно, ибо заняли свою «плацкарту», едва подали поезд.

Где-то за Римом на первой станции в вагон вошла и устроилась близ нашего купе четвертая юных шведов — три викинга и золотистоволосая русалка. Они были в шортах, с рюкзаками за спиной и с бумажными пакетами еды в руках — сэндвичами, йогуртом, бананами и яблоками. Они заблаговременно передавали друг другу дорожные завтраки 90-го года, немного пижонили перед русалкой, но являли собой умилительный пример дружеской компании, который, как и полагается умилительному примеру, вызывал благосклонное расположение на лицах окружающих.

* Самое распространенное свидетельство письменности на территории бывшего СССР.

Мы ни слова не сказали друг с другом, но я знал, что они. В моей седой голове зазвучали сигнальные звоночки совсем из другой эпохи. Я вдруг увидел воочию тех, чьи имена почти что позабыл, — аксеновских Димку и Галку и их приятелей, чьи имена уж точно не помню.

Я их увидел сквозь шведские лица, и они задали мне вопрос: за что же нас так ненавидели тогда «старшие товарищи»? А может, раньше, чем они спросили, у меня появился ответ, который в том прошлом историческом времени, что шло параллельно с моим личным, не находился.

Но сначала о том, почему он не находился. Аксенов в «Звездном билете» передал томление духа и тела такими, какими они и были в среде ...на двадцатилетних. Оттого все, кто знал, что это правда, зачитывали «Юность» до дыр. И «Галки», что вкусили запретного плода, и «Димки», что не могли защитить ни себя, ни своих возлюбленных.

В экспрессе Рим — Турин я понял — с заметным опозданием, — что не грех совокупления — с чего же тогда так почитать Анну Каренину, Катюшу Маслову, Катерину Островского, наконец? — а совсем другое являлось предметом ненависти охранителей всех мастей к сочинениям Аксенова.

Его героев «старшие товарищи» ненавидели раньше всего за свободу передвижения, за отъезд, куда глаза глядят, который приравнивается к побегу и за который, как известно, открывают огонь без предупреждения.

В литературе можно было уезжать только в Сибирь или какую другую глушь, но непременно на стройку или в колхоз. Когда Аксенов не нарушил этих литературных правил игры в «Коллегах», он был вознесен на самый высший пьедестал, даже некоторое время реял над ним, как Буревестник. Но был немедленно высечен розгами, лишь только позволил своим героям ускользнуть за границу дозволенного.

Гра-ни-цу. А у этого рубежа всегда две стороны. Одна дозволенная, а другая, если не понимаешь какая, то и не подходите близко.

Надо отдать должное критике тех давних шестидесятых, той ее части, что топтала, душила, улюлюкала, предупреждала, доносила, поносила, ну и так далее в том же духе. Она была снайперски точна. Жертву свою выбирала на нюх, была навскидку. Талант определяла сразу, ибо таково уж его свойство — постоянно высовываться не там, где положено.

Она была смачно, с удовольствием, даже наслаждением. И закаляла — спасибо ей — неслабых. И соединяла — спасибо ей — тех, кто был несоединен. И приучала — спасибо ей — вдумчивых читателей понимать, что колы ругают, то прочитать надо обязательно.

Аксенова ненавидели и любили практически за одно и то же — за то, что в своих книгах он говорил: существует другая жизнь. Он стал моим писателем и остался таковым по сию пору именно по этой причине.

Мы договорились, что я заеду к Аксенову домой и отвезу его на аэродром, поскольку по вызову студии он должен лететь в Таллинн. Схожий рейс объявился и у Саши Марьямова — по делам своей редакции ему больше подошла Рига. Я никуда не летел — просто был внимательным и хорошим другом, которому ничего не стоит смотаться во Внуково.

Мы ждали Васю, как было условлено, но он безнадежно опаздывал, и домашние волновались, как бы он вообще не опоздал на рейс. Но он все-таки появился, и не один, а с восхитительной попуткой, и чрезвычайно ею гордился — дюжиной, наверное, трусов, белых, хлопковых, с выточками и строчками, с хитроумным фигурным припуском, где положено, производства то ли Пакистана, то ли Индии — последний (или первый?) штрих элегантного мужского гардероба.

Достоинства трусов были несомненными, что наглядно свидетельствовало о нашем все большем приближении к мировой цивилизации, но даже я, с моей репутацией классного водителя, пролил разговор еще с минуту, уже никак не успев бы к рейсу. И потому от чая, от дома, от трусов мы выволокли довольного автора еще никем не читанной, но уже услышанной и оцененной «Бочкотару» на простор другого замысла, который, правда, еще требовал соответственного воплощения.

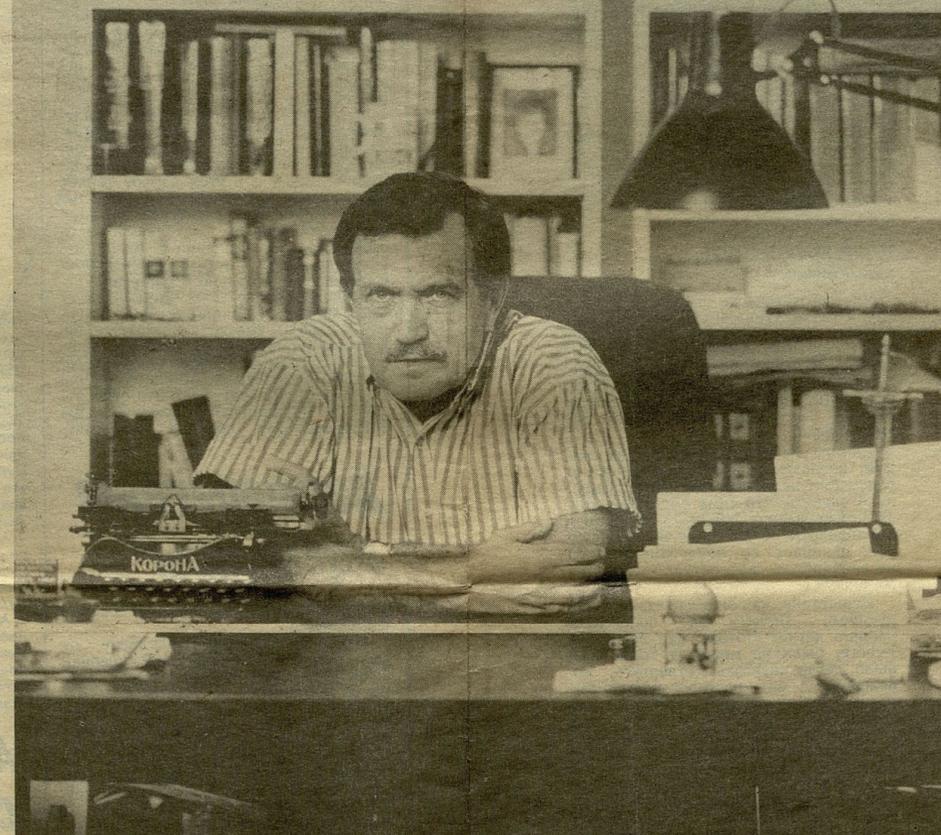
— Надо заехать в ЦДЛ, — сказал В. П. — С нами хочет поехать Толя Гладиллин. И, кажется, с девушкой. По-моему, замечательной.

Но Гладиллин с нами не поехал, хотя вышел с девушкой к машине. Ей же, мне казалось, поехать хотелось. Это, наверно, и стало непреодолимым препятствием. Ибо уже достаточно известный и опытный инженер чеховских душ без труда разобрался в отделе взятой. А также в наших, взятых вместе. Уж слишком мы постарались понравиться девушке с первого взгляда.

Компания сложилась сугубо мужская, в чем тоже немало плюсов. Правда, разговоры в таких компаниях попроще, зато ожиданий и надежд — разливное море. Господи, впереди ведь белые ночи. Я позвонил откуда-то с Ленинградского проспекта домой В. П. и сказал, что на рейс он не опоздал. Брать, конечно, не только стыдно, но и некрасиво, однако всегда можно так сказать, что вранья будто никакого и нет. И мой 426-й «Москвич» в совсем уж темной Москве лег на намеченный курс.

Мои спутники, устроившись за задним сиденьем, принялись за походный ужин. С собой у них что-то было, как начали уже говорить совсем в друго-

ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ*



эпоху. Договорились пригубить напитки только у памятников, монументов или исторических мест. Что тут же и исполнили, поскольку слева пролетели надолбы у Химок.

В 1963 году в Ленинграде происходило сверхневероятное событие — заседание Европейского сообщества писателей, посвященное проблематике современного романа. Сверхневероятное по количеству представленных там европейских знаменитостей (Наталли Саррот, Ален Роб-Грийе — не хотите ли?) и по той обстановке закрытости и секретности, в которой оно проводилось. Это выездное шоу в город революции готовилось долго и тщательно, а когда все уже было определено и выверено, за несколько месяцев до открытия Никита Сергеевич Хрущев так национал ногами и намахал руками на писателей и режиссеров, поэтов и художников, скульпторов и артистов, что заседание оказалось под угрозой срыва. Но виртуозный генеральный секретарь сообщества Джанкарло Вигорелли умяслил и наусупившийся Запад, и оцетинившийся Восток. Все сделали вид, будто ничего не произошло. Так в советской делегации оказались не только Шолохов, который, впрочем, не появился ни на одном заседании, но и Эрзенбург с Аксеновым, только что обглоданные критикой и руководителями партии и правительства с такой тщательностью, что косточки их прямо светились в стерильной чистоте, даже самому паршивому псу не досталось бы ни одной жилочки.

На набережной Невы в писательском особняке три кордона пропускали в зал участников дискуссии, освещать ее доверили только ТАСС, АПН, «Литературной газете» и «Правде». И то при условии, что все материалы будут предварительно просмотрены пресс-группой, которую возглавлял Чаковский, а читали отчеты и репортажи лично заместитель председателя Идеологической комиссии ЦК КПСС и несколько сотрудников отдела пропаганды. Веселенькая была командировка, так как агентов как раз оказался я, передав из Ленинграда материалов эдак пятнадцать.

Хвала Всевышнему, что операция, доступная современной медицине, никогда не осуществляется в литературе. Пересадка сердца тут невозможна. А еще естественней, что, как и в медицине, невозможна пересадка души.

Когда-то Фолкнер, выступая при вручении ему национальной премии, сказал, что художником он считает человека, который пыгается, пусть очень неумело, вырезать на вратах забвения, в отчете

Сказав, что за граница нам поможет, и обманув тем самым своих компаньонов, Остап Бендер оказался прав в историческом плане. Заграница, на которую АПН обязала пропагандировать советский образ жизни, действительно помогала. Хотя бы тем, что ей нужны были статьи и материалы тех и о тех, кого она знала.

Поэтому из всех выступлений советских писателей в Ленинграде через АПН прошло только два — Ильи Эрзенбурга и Василия Аксенова. С их разрешения я сокращал стенограммы и потом показывал им тексты. Краснею до сих пор, когда вспоминаю, как просил Илью Григорьевича выпростать начало его речи о дискуссию, которую он в некотором смысле определил как диалог глухих с немыми. Там были такие слова: «Сейчас много говорят о догматизме одной страны на Востоке», и я просил его как-то изменить их, чтобы статья проскочила сквозь цензуру. Он долго думал, а потом спросил: «Но про Китай-то почему нельзя?» Вот тогда я и покраснел, потому что был уверен, что речь идет о стране, гражданином которой я являюсь.

Эрзенбург пошел только «на зарубеж», а вот Аксенова печатали и безумные наши провинциальные комсомольские газеты. Отгадка проста — в пресс-группе про Эрзенбурга напомнили, кому он адресован, а про Аксенова нет. До сих пор не забыл, как называлась та статья — «Кардиограмма писательского сердца». Заголовок, пожалуй, выпрепный и, естественно, не авторский, но как дипломированный врач Аксенов, надо полагать, знал, что мрачно и что нельзя говорить больным. Однако, думаю, ему и сегодня не было бы стыдно ни за одно слово.

Хвала Всевышнему, что операция, доступная современной медицине, никогда не осуществляется в литературе. Пересадка сердца тут невозможна. А еще естественней, что, как и в медицине, невозможна пересадка души.

Когда-то Фолкнер, выступая при вручении ему национальной премии, сказал, что художником он считает человека, который пыгается, пусть очень неумело, вырезать на вратах забвения, в отчете

ему придется войти, надпись на языке своей души: «Здесь был Килрой».

Так писали американские солдаты во время второй мировой войны на стенах домов, входя в европейские города.

И если кому-то показался аминокшонским заголовком статья, что прочитана до этого места, то я скажу: Килрой как раз и имел в виду, написав «Вася». Ибо кто по-американски Килрой, тот по-русски Вася.

Памятники и исторические места на трассе Москва — Ленинград не кончались, но у моих спутников исчез повод обращать на них внимание, и они мирно засопели на заднем сиденье. Я ехал, ехал, ехал, и мне тоже безумно захотелось спать, что я и осуществил, съехав где-то под Новгородом на обочину, а потом на преселок, в рощицу, в темноту, в мгновенное забвение. Я проснулся от пения птиц и огляделся. Машина была пуста, вдалеке паслось стадо и двигались по бескрайнему полю две маленькие фигурки. Солнце только оторвалось от этого поля и жарко разгоралось между небом и землей. Фигурки приблизились и в темной бутылке с непогасшими в новом дне тремя звездочками преподнесли мне пол-литра парного тягучего молока.

Ну как передать упоение этим зарождающимся днем, упоение скоростью, свободой, летящими назад километрами? Только так — хорошо было очень.

А там шоссе плавно перетекло из Ленинградского проспекта в Московский, обернулось Фонтанкой, Невским, Поцелуйным мостиком, Дворцом Первой пятилетки. Его директору написал записку Тедик Гиршфельд, администратор «Современника», к которому мы заехали после расставания с Гладиллиным, и просил подателей ее устроить в гостиницу. Он же, между прочим, и презентовал ту бутылку, не будь которой, не пить мне в чистом поле парного молока. Так в том мире было все материалистически связано и взаимопереплетено. Потому и получили мы потом за бешеные восемнадцать, кажется, рублей в сутки «люкс» в «Октябрьской», три пропуска к тому же на концерт Райкина, чем не преминули воспользоваться с большим наслаждением тем же вечером, но перед этим мы с Марьямовым попарились у Пятя Углов в бане, а Аксенов — нет, по причине плохого самочувствия, и, по-моему, он же не притронулся ни к одному раку, что громоздились после бани на пластмассовом столике какого-то пивного бара, куда зашел да зашел, и не в том прелесть, что раков заказал, а в том, что, как говорится, побрезговал ими.

Жаль, что вас не было с нами Банально, конечно, после Аксенова расквашить этот пароль молодости. Но в рассказе у писателя, помнится, дело кончилось компотом, что, конечно, много художественней и интересней.

У него вообще все интересно совпадает, один «Остров Крым» с его военно-физкультурным праздником чего стоит! Как какой-то рубеж в жизни, то тут же Олимпиада (это когда выгоняли из СССР), как день рождения — то путч или август 68-го.

Некоторое время назад Аксенов пал жертвой некой газетной полемики. Евгений Евтушенко в «Литературке» и «Огоньке» опубликовал мемуары, где как раз и вспоминал август 68-го, поведав, как бесстрашно они с Аксеновым осуждали в Коктебеле вторжение советских танков в Чехо-Словакию. Но при этом обмолвился, что было это после чье-то дня рождения, чьею, он не помнит, куда они так были званы вместе с Аксеновым. Что же это за люди такие, если они даже не помнят, к кому ходят на день рождения, и как им можно после этого верить — так в огромной статье залеймили мемуары «Советская Россия».

Свидетельство — Аксенов точно знал, на чьем дне рождения они были с Евтушенко, поскольку происходило это в канун вторжения, следовательно, 20 числа, когда и угадал его Бог родиться. Это во-первых. Во-вторых, я сам там был, еще были Саро-веров, Балтер, других я, увы, не помню. А в разгар вечера появился только что приехавший Евтушенко. Так что вполне мог и забыть про день рождения, поскольку специально зван не был, а просто, узнав, что поблизости сидит хорошая компания, перелез через перила терраски, возникнув из темноты, и почти сразу начал читать стихи. Из-за чего потом образовался почти что скандал, потому что кто-то стал объяснять ему, что день рождения не его. Потому, наверно, и вышла у него путаница.

А параллельно с этим, как у Зошенко, шло, ну, не большое крымское землетрясение, а событие куда поглубльней — вторжение в Чехо-Словакию. Наверно, тогда и случился главный геологический катаклизм с мировой системой коммунизма. Она дала такую трещину, заделав которую было уже не под силу ни людям, ни самой истории.

Евтушенко же, вправду, вел себя мужественно — послал с коктебелевской почты телеграмму протеста Брежневу. Аксенов, по-моему, телеграммы не послал, но вечером 21-го мы, тихо разговаривая (в тот день все разговаривали тихо), шли из Литфондского дома в дом Габричевский. «Это конеп, этот позор никогда уже не отмыть», — тихо говорил В. П. А когда рядом проходили люди, он начинал кричать, что было слышно всем: «Отегов Брежнева, эту воющую власть...» Жена одергивала, он снова начинал говорить тихо — до тех пор, пока рядом не появлялись новые прохожие.

Не спрашивал, но, наверно, тогда родился «Остров Крым».

Крым он любил и любит. Когда-то мечтал жить в нем всегда, иметь хороший дом с баром внизу и кабинетом наверху. Сидеть в кабинете затворником и писать, но изредка спускаться вниз, чтобы самодельно налить рюмочку дорожному гостю. Так — ре-марковски-хемингуэвская фантазия.

Сегодня осуществить ее ничего не стоит. Но дом его в Вашингтоне. И там не стойка бара, а профессорская кафедра.

Могла бы быть другая жизнь. Впрочем, как я полагаю, она у него всегда получается другой.

Пора к финалу, пора к белым ночам, к началу и завершению прогулок, а также приключений. Чего я радуюсь и грущу, чего я помню все это? Да, были прогулки и белые ночи, и разговоры о любви. Марьямов с Аксеновым однажды меня покинули и были потчеваны гусем. Куда я подевался, не помню. Вместе были в один вечер в «Европейской», и странная прекрасная девушка, пришедшая не с нами, как сомнамбула, ходила по галереям, свешивалась с балкона, и не заметит ее было невозможно, но ее описал в романе другой писатель, тоже уехавший в Америку. Я еще не знал, что стану приезжать в Ленинград, а потом в Санкт-Петербург, просто домой — и намена к тому никакого не было. Я не знал, что буду вспоминать этот отрыв из Москвы в Ленинград, в 67-м, потому что в 80-м приду прощаться с Аксеновым в день отъезда его за границу — кто ж не знал тогда, что это навсегда!

В 1987-м я позвонил ему из Нью-Йорка, он сразу узнал меня, едва я произнес его имя, и ответил с такой знакомой вопросительно-утвердительной интонацией, что у меня запершило в гортле. Потом я приехал в Вашингтон и рулил (попробуйте-ка после «Жигулей» «Мерседес» с автоматикой) его «Мерседесом» в отставку за то, что когда-то зимой мы с ним поехали покупать «Запорожец» и еле завели его на крутом морозе, я довел этого, хоть уже не горбatego, но ублюдка до дома, а потом давал В. П. первые уроки вождения. Даже в том, 87-м году не верилось, что ситуация может перевернуться круто. Только что было опубликовано письмо Аксенова, Буковского, Максимова, Неизвестного, Зиновьева, других, и ему дали отповедь не кто-нибудь, а «Огонек» с «Московскими новостями». Я сказал Аксенову — зря вы с этим письмом сейчас, все так неустойчиво, зыбко. Он не стал спорить, хотя высказался достаточно определенно в отношении комментариев к публикации письма. Бог мой, до чего же и тогда мы были — имею в виду исключительно себя — еще запереными, замусоренными, все просчитывали, как лучше, как хуже, как удачнее. А они писали, как рубили топором: прекратите войну в Афганистане, выпустите политзаключенных, разрешите свободно пользоваться множительной техникой, ну и так далее.

Когда он впервые зашел за мной в гостиницу, которую прекрасно знал, потому что в ней несколько месяцев прожил в Вашингтоне Юрий Любимов, он спросил, как лучше встретиться. А я спросил с какой стороны он поедет. Он ответил, что со стороны Вирджинии. Этот диалог может не понять только иностранец. Вася был тактичен, а я осторожен. Сам «совок» и других «совков» в отеле рядом хвatalo. Тогда я пройду тебе навстречу, сказал я. И они поехали с Ушиком, замечательным ласковым псом, который умел понимать по-русски и по-английски одновременно.

Наши недолгие белые ночи заканчивались. Шли к себе в «Октябрьскую», встретили на Невском знакомую с «Мосфильма», она сказала, что тут в экспедиции, группа скучная, никто ни с кем не общается, правда, кино хорошее, — «Фокусник», снимает его Тодоровский по сценарию Володина. «Где?» — «А вот тут, за углом, прямо в доме».

Так мы оказались на съемом/ном площадке. Тодоровский был рад и даже предложил нам всем немедленно сняться в эпизоде, усадив в кадр, в массовку на лестнице, ведущей на аттросели. Но в кино все делается долго, и Аксенов свистящим шепотом — «немедленно отсюда» — поднял нас с лестницы, сказав режиссеру, что мы срочно должны быть в другом месте.

— Вы что, не соображаете, — объяснил он, когда мы уже топтали по Невскому, — выйдет фильм, и все поймут, что мы ездили вместе.

— А чего мы боялись? — спросил Аксенов, когда я ему там же, в Доме кино, сказал, что он не прав, откритившись от «Фокусника» в ответе на записку.

Я напомнил — чего. «Ну и что?» Действительно — ну и что? А то, что в жизни остается не то, чего боишься, а то, чего ты не боишься. Вот Дикой в аксеновском рассказе взял да и собрал в конце концов вечный двигатель, а другой герой только успел подумать, изумившись, из-за чего же он сам столько раз жег себя, палил из револьвера, получал выговоры.

Пару лет назад появился в домашнем ящике «Фокусник» с титром — «Впервые на телеэкране». И действительно, никто не узнал, что в нем бы мог мелькнуть Василий Аксенов. Жаль — хороший фильм.

Только зачем ему мелькать? Он ничего не боялся, когда писал и наперекор всему публиковал за рубежом «Ожог», когда собрал «Метрополь», когда переворачивал наизунок все в «Острове Крыме». Он всегда знал, что такое другая жизнь, потому что не боялся ее, а ею жил.

И потому лучше всего его читать, что ни открыл. У него там про все сказано. Здесь был Вася.

Ал. АВДЕНКО.
Автошарж исполнен В. Аксеновым специально для «ЭС» 15 августа.

Фото Валерия Плотникова.